

И уж конечно, ничего тут чудесного нет.

...Ночью однажды сидел Владимир Николаевич у столика и отдыхал за шахматами — повторял стаунтоновский, раннего периода, королевский гамбит, помещенный еще в «Palamede» в семидесятых годах. На столе позади него пел медную песенку хромой хозяйкин самовар.

Тогда за окном пушил декабрь, и белые снежные кони хорошей метели вихрем несли по городу синие санки сна.

И как будто кто-то играл на флейте, и, возможно, флейта играла сама.

Эта партия, игранная в Авиньоне лет семьдесят тому назад, была, пожалуй, самой изящной у Стаунтона. Атака белых коней, после внезапного нападения черного ферзя, была размеренной, четкой и строгой, как математическая формула, где знаки так хорошо и магически вплетаются друг в друга... А самая середина партии, когда черные выправляют свои смятые пешки и черная ладья, пользуясь

замешательством неприятельского фланга, выплывает с b8 на b4 и уводит белого коня, — это ли не вагнеровский лейтмотив, гневная медь которого расцветает над головой нечаянным звенящим цветком?

Самовар вздыхал начищенной своей грудью, стихал на минутку крошечную, и снова потом начинала сонно ползать по комнатке тихая песенка самоварной тоски. В таком перерыве Владимир Николаевич передвинул ладью и задумался над ферзем. Стаунтон уходил здесь в неясные дебри конной атаки и с непонятно диким упорством бил конем с f3 на d4, а потом развивал прекрасную комбинацию на левом своем фланге... Владимир Николаевич ясно представлял себе другой вариант, а именно: королева идет с d5 на a5, как играл впоследствии Андерсен против Кизерицкого, а оттуда, — правда, рискуя катастрофой, — можно было прямо поставить угрозу белому центру... Владимир Николаевич решил разработать этот вариант и, закулив папиросу, устремил глаза за окно.

...Там неслышный лёт ветровых копыт пронизывал синюю ледяную глубь ночи. И уносились, и набегали новые, и весь тот снежный поток как флейта был. И странно, что многие в городе бессознательно слышали ту смеющуюся флейту, кроме одного лишь Владимира Николаевича.

Внимание его было поглощено белой пешкой, — в ней лежала причина некоторых осложнений и туманности, но уже и теперь становилось ясным: с4 било f7, а g7 черных...

Вот тут-то Владимир Николаевич пристальной вгляделся в ночь и лишь теперь неожиданно услышал тихий, влекущий в равнины декабря, свист метельной флейты. И случилось так, что это напомнило ему письма тоненькой девочки Марианочки, которая за год перед тем под лиловой шалью пробежала мимо его сердца. Владимиру Николаевичу живо вспомнились глаза и губы в особенности, которые на всю жизнь так и растворились в пенье снежной флейты.

Но тотчас же вслед за милыми губками Марианочки почему-то припомнился хитроумнейший вариант Морфи, и тогда Извеков одной насмешливой улыбкой смел всю эту розовую муть с души, как лужу метлой с тротуара, а Стаунтон, по совету непогрешимого Морфи, прыгнул конем вперед и угрожающе поднялся на дыбы перед самым носом ошарашенного короля.

И снова запела флейта. И, покоряясь чему-то, что было прежде, а теперь ушло, Владимир Николаевич подошел к окну и стал смотреть.

Между домами, — в их низкие и вторые этажи поглядывали заплывшие метелью желтые глаза, — неслись, разбрызгивая синие хлопья по сторонам, снежные табуны, увлекая в ледяную муть беззвездной ночи весело кувыркающихся слов... Потом проскользнула, кружась неистово, узорчатая вся, как клубок снежного кружева, башня под самым окном. И опять кто-то затерявшийся среди той метели повторил знакомую мелодию, устремляя бескровные губы к флейте.

Стало вдруг необычайно хорошо, — не потому ли вдруг оборвалось медное курлыкание самовара? И взамен его тихий женский смешок пробежал по комнате, вбежал в ухо Владимира Николаевича и спрятался у него в сердце самом. Ясно, что он обернулся, — но то, что он увидел, было не совсем ясно. Он заметил на шахматной доске, сразу разросшейся всюю...

...А флейта все пела. Пробежала по ней белая рука вперед, убежала назад...

Он отчетливо приметил, как, перебежав на b7, передать хотела черная королева крошечную записку беленькую чужому офицеру, покуда за резной башенкой наклонял лысую, в короне, голову над рыженькой толстушкой, которых на

шахматной доске ровно восемь у него, черный король... Едва успел: тотчас закаменело все, и за шелковыми складками королевина платья испуганно спряталась тонкая ее точеная рука, — сдвинулось, вздрогнуло и замерло так.

...Взмахом белых рук за окном оборвалась флейта, и на некоторое время снова, унылый и одинокий, затянул прерванную песню самовар. Только две вещи и запомнил тогда Владимир Николаевич — первое: глаза королевы своей — быстрые, глаза метели снежной, в которой столько всегда разных равно близких сердцу глаз, но среди них — одна... И второе: фигуры на доске оказались расставленными именно... Это было поразительней всего, — Владимир Николаевич ясно своими глазами видел то, о чем не мечтал Стейниц и не смел предполагать Андерсен. Это было неожиданней, чем самый искрящийся, внезапный, как водопад, гамбит Эванса. То было неизвестное еще положение в игре офицера и королевы... Легко было запомнить: королева на d2 и с нею рядом, на одном ходе коня, чужой офицер. Неразрывные, как якорная цепь, пешки бегут в атаку, погибают две, и через три лишь хода тот же офицер, который прятал любовную записку, шахует растерявшемуся королю.

И опять флейты.

Недоверчивым взором ощупал Извеков и эти четыре крупно разросшихся стены, и этот разбухший в медную гору самовар. Да, — он сам теперь, Владимир Николаевич Извеков, стоял на шахматном поле, на ход коня от королевы, и та протягивала ему сложенную вчетверо записку. Он взял, подержал незаметно у сердца и, едва скрылась та в треугольном, с отворотом, кармане его камзола, полностью осознал всю непоправимость происшедшего превращения. Было отчего прийти в ужас: он стал черным левофланговым офицером деревянного короля.

Еще мгновенье, и сознание начало стынуть в нем, и лакированным деревом в уровень с глазами блеснула собственная его рука, приподымающая шляпу, вытереть испарину испуга. Последним бешеным скачком исчезающей воли вырвались у него четыре деревянных слова:

— Нет, не хочу, нет...

Теперь уж совсем недалеко пропела громкая, как охотничья труба, метельная флейта. Потом что-то передвинулось, возникший было острый угол стал тупым и пропал, уничтожился на одной прямой в ничто. Нечто качнулось, как цветок, и снова треугольником стал нечаянный квадрат тот.

Самовар вернулся откуда-то и стал слышным, а сам Извеков оказался сидящим в трехногом, — а четвертою хозяйкино ведро, — кресле и как будто задремавшим даже. Он протер глаза, припомнил, попытался улыбнуться витиевато проскользнувшему сну, но... на доске было то самое, из миллиарда единственное положение, когда черный ферзь и чужой слон во имя блистательнейшего из концов взаимно связываются тонкими нитями шахматной интриги.

Метель стихала, тикали на стенке часики. Остекленевшим, замороженным глазом глядел в спину Владимира Николаевича фонарь с улицы сквозь затянутое легким ледяным кружевцем стекло. Метель стихала, но красный спирт на шкале за окном все ниже прятался в свой стеклянный шарик. А на полу, возле самых ног, упавшая оттуда, белела записка. И в ней, как признак свершившегося безумия, — слова:

«Освободите, хочу всегда с вами быть. Рвусь к вашему сердцу вся из моей деревянной клетки. Один вы у меня родной, — все они, кругом, деревянные...»

Борис Викторович Коломницкий был, во-первых, музыкантом и еще страстным любителем всяких шахматных несообразностей, а во-вторых, веселым и верным другом, хотя немножко с язычком. Именно по долгу дружбы он и состоял давним и терпеливым поверенным немногочисленных тайн Извекова.

Было уже поздно, Борис Викторович лежал в кровати и держал прямо перед носом у себя обрывок газеты, в ожидании, покуда вчерашний суп разогреется на керосинке.

Было поздно, близ двенадцати уже. Сквозь оловянное стекло непреодолимой дремоты старался Коломницкий проникнуть в таинственный смысл некоторых слов, стоящих на газетном том клочке: ...экстра файн... 22.10... фулли — гуд — фер... 19.10... Конечно, — если бы не дремота эта самая, — несомненно, сразу же сумел бы он понять, что это просто-напросто сводка хлопковых цен на июль. Но дремота удаляла типографские знаки далеко-далеко, — верст на двадцать, и потом начиналось их обратное непреодолимое наступление, пока не заполняли всего сознания, пока не падала оцепеневшая рука... А спать было еще рано.

Тут-то и вошел Владимир Николаевич, и побежденный, скомканый клочок газеты полетел в темный пыльный угол, где желто-красный живот свой выпятила виолончель.

— Я, Борьк, к тебе, вот.

— Эге, понимаю. Кто она и сколько?

— Да нет, деньги у меня самого есть: получил сегодня... Тут вот книжку, которую ты разыскивал, принес.

— Купил?

— Купил...

— А когда покупал, — Коломницкий сурово поглядел на Извекова, но за серьезным взглядом его прыгали озорные черти безудержного смеха, — не спрашивал ли тебя приказчик: не задумал ли, мол, Коломницкий жениться?

Извеков руками всплеснул:

— Вот что значит одного тебя оставлять. Да ты, отец, совсем у меня свихнулся!

Тот сел на кровать и протер кулаками глаза:

— Угу, непотребно это, братик, одному быть! Каждый молодой, правильно сделанный мужчина обязан, понимаешь ли, когда-нибудь полюбить. Что есть человек без любви? — Коломницкий отвел указательный перст правой руки в сторону. — Микроб двуногий или глупая зеленая водоросль.

Коломницкий опустил выпуклые свои смеющиеся глаза вниз и тяжело вздохнул:

— Ты вот что, Володьк, — ты знаешь, какой слух ребята в консерватории про меня пустили?.. будто я с виолончелью живу, понял? А тут девушка, умная, очень даже ничего себе, но ты не беспокойся: до свадьбы не познакомлю!

Владимир Николаевич загрюмился:

— Шахматы где у тебя, тарантул?

— Вон, в углу. Столик вчера опрокинула хозяйка, — разбежались, как тараканы... Поищи, коли нужда есть!

Владимир Николаевич заползал по полу, пошарил рукой под кушеткой, вытащил коня, стал расставлять фигуры.

— Борьк, тут пешки одной нет!

— Белой?

— Белой.

— В постоянном и безвестном отсутствии. Не огорчайся, замени пробкой...
пустяки!

Владимир Николаевич начал с муциевского гамбита, выбросил слона, отдал коня и рокирнул... Коломницкий помычал, взглядом проскользнул зорко по доске и вот подошел, стал глядеть.

Извеков вел умело. Трах — ладья перескочила за борт, прямо в лужу вчера разлитого чая. Раз-два-три — белые слоны топчут правый фланг черных, король с d7 снова возвращается на d8 и опять выплясывает там свой убогий королевский танец на месте под кривыми кнутьями враждебных коней. Еще два хода — e4 бьет g5, — слон растаптывает пешку на пути ферзя, и вот...

Коломницкий был изумлен. Больше того, — он был подавлен и как-то по-собачьи ласково заглянул Извекову в глаза.

— Слушай, но ведь это же невозможно! Постой, слон бьет g5... Да ведь пойми ты, сам Филидор взлетел тут на воздух со чадами и домочадцами своими!.. Ведь это все равно что живую Венеру найти... паровоз изобрести! — Коломницкий был вне себя, восхищение как-то придавило его.

...Тихая начинала журчать поземка в улицах, разливалась луна, безбрежно и широко, — и, как острова в ледяном лунном половодье, торчали в черном небе метельные облака.

— Вот что, Извеков! Я четыре месяца добивался вот этой самой раскладки фигур. Мне давно уж казалось, что должно же и в шахматах быть такое положение, когда женщина изменяет только ради самой измены, в которой тайна и разная там магия... Да нет, — ты что, сон, что ли, видел шальной?.. ты, по крайней мере, понять-то меня способен?

Можно было бы рассказать все ясно и просто, утаив про записку, — и ничего бы не случилось тогда, но Владимир Николаевич предпочел показать ту самую записку, из другого плана, из деревянной шахматной клетки. Он протянул приятно руку открыто, как протягивал сердце свое в течение долгих лет, и тот взял нерешительно.

Тут побледнел весь Коломницкий, и задрожала у него нижняя почему-то губа, и спросил, досадно и враждебно усмехнувшись:

— И ты с ней давно знаком?

— С кем?

— С Анкой...

— Кто?

— Ты.

— Да я совсем никакой Анки не знаю... Ты с чего нахмурился-то?

Тот перебил Извекова, и в голосе вздрогнуло нехорошо:

— Ты-то, конечно, ни при чем тут! Все дело в том, что записку эту писала невеста моя... вот про которую я тебе расписывал давеча. Здесь и буквы ее внизу: А. и Р., и почерк ее. Для меня это удар, признаюсь...

Извеков тупо глядел на приятеля, плохо понимая происходившее, но что-то уже начинало его раздражать. Потом догадался, откуда Коломницкий молча жевал папиросу, и принялся горячо, но сбивчиво рассказывать и объяснять приятелю и про то, как нежно пела флейта во вчерашней метели, и как записку уронила ему черная из шахматных полей королева, и еще подобную же чепуху... Говорил ис-

кренне, не скрывая ни слова, чуть не целых полчаса говорил. Но когда в котелке над керосинкой забурлило вдруг, Коломницкий встал, обрывая Владимир-Николаевичевой речи нестройный поток, зевнул и сказал:

— Я тебе не верю, потому что не верю ни в чох, ни в сон, ни в рыбий глаз, ни в какие чудеса не верю. И потом вот что: сейчас я буду ужинать, еды у меня на двоих не хватит, а потом я спать лягу.

Владимир Николаевич был очень душевный человек.

Он постоял еще минутку для приличия, надел не спеша шубу, вздохнул поглубже и вышел, не прощаясь, вон.

...В переулке со снежных гор, будто на весело хрустящих полозьях, соскальзывали лунные тени вниз. Было очень свежо и приятно. Выходило, будто луна пробивалась сквозь мех и знобяще прилегала к спине, — это бодрило походку. Хорошо, когда скрипят шаги по целине и собственная тень, как верная собака, бежит впереди, головой нащупывая каждую в дороге выемку.

Но плохо чувствует себя человек, возвращаясь после обидной неприятности в свое пустое, неприятное жилье.

III

Еще не раз, в вечерах, все той же метелью отмеченных, видел Владимир Николаевич, как оживала черная королева, обозначавшая себя в записке тонкими, без нажима, буквами: *A.* и *P.* И всякий раз, когда ходом коня становился он на шахматную клетку рядом, успевал поймать один лишь ее беглый и ставший милым взгляд. Но едва усилием воли пытался продлить свое деревянное счастье, молниеносно делался треугольником неведомый квадрат, и распрямлялся некий угол иной математической яви, и выпадало тайное из цепи звено. Он просыпался из сна в наш, этот сон, и снова застревал в гуще житейских мелочей и воспоминаний неутоленной минуты.

И вот пришла тогда к Владимиру Николаевичу любовь, необыкновенная, как семибашенный дворец. И стала душа его жить в этом здании, и было ей очень хорошо.

...Днями бегал по урокам. Вечерами же иногда, если метель пушила, клал на раскрытую ладонь свою деревянную королеву и ждал, не расцветет ли дерево это под его горячими глазами цветами алыми или голубыми, подобно библейскому Ааронову жезлу.

Но чаще молчало все, не просыпалась в точеных изгибах вещи ее деревянная душа. Вечер проходил и записывался в памяти чернильным лиловым карандашом — пустота.

С Коломницким порвалось все само собой, раз не верил тот ни в чох, ни в рыбий глаз, а Извеков, выходило, верил. Из десятых уст слышно было, что тот пьет, из восьмых — разрабатывает какое-то невероятное шахматное контрположение, из четвертых — что сильно обтрепался и еще больше порыжел... Потом все стихло.

Покуда распевал то глуховатым баритоном, то медным тенорком самовар на столе, по-прежнему садился у окна и, когда начинали разбрызгивать снежную муть тени белых, в синих яблоках, коней метельных, а флейта — петь, караулил минутку, когда возникнет вдруг из ничего тот тайный, радости пресветлой угол, который Коломницкий чоху и рыбьему глазу приравнял, — не вплетется ли в цепь знакомых и адски надоевших колец королевиного пробуждения звено.

И в один из вечеров случилось большое горе: королева пропала. Ее не стало нигде — ни здесь, ни там, ни вот там... В тот вечер бомбой вылетел Владимир Николаевич на кухню, где стирала белье толстая ведьма Наталья.

— Она выходила отсюда, ты видела? — допрашивал Владимир Николаевич, стараясь заглянуть в глаза.

Ведьма ниже наклонилась к корыту и сумела только промычать:

— Да не-ет... никто вроде не выходил, не замечала.

Владимир Николаевич знал, как нужно с ведьмами разговаривать.

— Заходил ко мне кто-нибудь? — чуть руку ей не вывихнул Извеков.

— Тот рыжий, товарищ твой, был. Потом ушел, письмо тебе к стенке наколол.

— Долго пробыл?

— А кто ж его считал? Не раздевался...

— Купил он тебя, ведьма!

— А ты подсматривал?

Ну конечно, это был Коломницкий, — он и унес крошечный кусочек дерева, где спала королевина душа. Извеков застонал тут особым проникновенным манером и, согнувшись, бросился в комнату искать записку. Она висела на стенке, приколота к обоям ржавым пером:

«Ухожу вместе с ней. Нужно было на фб, конем, чудило! Ты меня не разыскивай, — не вводи меня во искушение».

Владимир Николаевич раза четыре схватывался за голову, потом два раза за одну мысль дурную, которую родило отчаянье, потом за шапку и вылетел на улицу, оставляя за собой дребезг опрокинутого стакана, хлопок, откинутой наотмашь двери, на которой остался, вероятно, добрый след извековского локтя, и жалобный взвизг подвернувшегося по дороге пса.

...Влажные, слегка оттепельные сумерки действовали на него благотворно, хотя и медленно. Часа полтора он рассеянно скользил по переулкам, погруженный в разрешение какой-то задачи — шахматной, конечно, — смысл которой представлялся ему теперь смыслом всего его пребывания на земле. Эта убийственная растерянность не покидала Владимира Николаевича вплоть до той минуты, пока он не столкнулся с фонарным столбом. Плохо соображая действительность, он приподнял с извинением фуражку и направился домой.

Ночь подкрадывалась, как черная кошка, невидная, неслышная и близкая всем. По небу разлеглись низкие облака, похожие на кошачьи хвосты. На душе скребли кошки... У самого подъезда тощая черная кошачья тень скользнула через дорогу. Владимир Николаевич плюнул ей вдогонку, — снова такая гнусная тоска заполнила душу, в пору хоть шахматную доску сгрызть.

Вошел в комнату, — Наталья неодобрительно и обидчиво выпятила губу, — бросился в кровать, схватил зубами подушку и продырявил новую наволочку насквозь. Горю его не было предела, а зубы были молодые и острые.

IV

И вот началось...

Добрая старушка, которая в письмах своих ласкала дорогого и единственного Володеньку своего старческими нескладными словами, как умела, не опознала бы его теперь: осунулось лицо, а нос заострился, а глаза стали подозрительными и

острыми, и щетка волос на подбородке придала всему облику его какой-то серый, бродяжий налет.

Вечера напролет упорно бродил он по сумеркам, перебегал улицу, заглядывал в темные лица встречающих, подглядывал в чужие окна, — искал. Не сомневался, что это совсем рядом, так что, если чуть волю поднапрячь, как при утерянном ключе вскрывают дверной замок, он сразу ворвется к ней в ту мнимую математическую даль.

Еще совсем недавно, четыре дня назад, встретил Владимир Николаевич ту, кого искал. Снова клубилась метель, самая большая в той метельной зиме, белые столбы шли очередями, и в каждом столбе глаза — выбирай! Вдруг она прошла мимо, а с нею два офицера, вплотную, как конвой, шли по сторонам. Один, конечно, Коломницкий, другой — тот шахматный, строгий, как секундант, потерявший-ся у Извекова недели еще три назад.

Они шли, как плыли. Прижавшись к стене, проводил их Владимир Николаевич глазами, услышал, как звонкие хлопы смеха королевина прорезали над его сердцем и растаяли в крутящемся столбе; деревянное лицо крайнего обернулось на мгновение и исчезло во мгле... И вот далекая, из серых, зыблящихся круч, опершихся в дрожащие крыши, донеслась поющая флейта.

Когда услышал, бросился вдогонку, но колючий вал мокрых, исступленно сомкнувшихся в призрачную лавину хлопьев залепил глаза и уши... Очнулся и опять ринулся было вперед, но синее и визжащее встало перед самыми его глазами на дыбы, простирая высоко над домами снежные когтистые лапы. Владимира Николаевича, по счастью невредимого, вытащили из-под колеса...

В другой раз видел ее на улице. У магазинной витрины, призрачным силуэтом отразясь в зеркальном стекле, поправляла шляпу.

...Потом однажды, поздно, она переходила улицу, близкая до боли, под руку с высоким стариком, а смех ее был как фарфоровый шарик на веселом серебре.

Тогда, сильные от морозца, попугивали запоздавших старушек автомобили на перекрестках и оглушительно звонили трамваи. Мучила навязчивая мысль, почему каким-то пятидесяти разнокалиберным людям потребовалось именно в этом трамвае именно в этот час ехать в одну и ту же сторону... Тогда зажигались на большой улице среди клубящихся метельных валов — дуговых фонарей молочные шары. И непонятно было, где была записана их идея до того, как они повисли в этой снежной высоте. Так потихоньку Владимир Николаевич сходил с ума.

V

В тот именно вечер пришла Извекову новая мысль. Он в подробностях представил себе шахматную расстановку, когда королева, играя с ближним офицером, Коломницким, не замечает угрозы от другого, тоже на ходе коня. И тут проявилась наконец полная позиционная уязвимость его соперника.

...Извеков бежал домой, натываясь на прохожих, на встречного ветра живые валы, размахивал руками... Лишь в самых дверях остановился, вытер лоб рукавом, не раздеваясь присел к шахматам.

Вместо отсутствующего ферзя в клетку королевы встала притертая от графина пробка, вместо Коломницкого — огарок стеариновой свечи... дуэлянты встали по местам. Извеков криво усмехнулся кому-то, невиднo стоявшему у стены, подмигнул и кашлянул, игра началась.

Опять метелило в переулке. Заволокло окно морозной занавеской с той стороны, но смахивалась наотмашь от легчайшего прикосновенья торопившихся мимо теней. Иные приникали на мгновенье к самому стеклу в намерении заглянуть вовнутрь и, как-то так получалось, все теперь, не только один успех любовный, зависело от того, как растасуются фигуры на доске.

Белый конь вышел вперед. Стеариновый огарок отступил и телом своим прикрыл притертую стеклянную пробку. А8 сделала набег на а5, заворочались белые слоны... Королева уводит пешку с доски прочь. Конь убивает вторую пешку, и потом еще одну, и еще.

Владимир Николаевич не выдержал, — тому, кто незримо стоял у стенки, прислонясь к дверному косяку, просмеялся он тихо:

— Что же вы меня на простака-то ловите? Не раскаяться бы...

...Стало очевидным: нужно было изолировать королеву, удалить метким ударом Коломницкого с доски.

Извеков разогрелся и сбросил шубу с плеча, а голова работала все отчетливей. Противник отступал, метался, и — странное ощущение — с каждой мельчайшей передвижкой на доске менялись сочетанья каких-то более значительных узлов, перемещались где-то вдалеке глыбы времени и враждебных волей, и вот уже судьбой становилась пустяшная, казалось бы, игра.

Тут всклокоченный, над доскою, человек напрягся до последнего предела, — что-то грозило лопнуть... двадцать два, двадцать три. На двадцать четвертом ходу белый конь безошибочно шагнул на d6, а двадцать пятым ходом черная шахматная ладья, угрожая спрятавшемуся королю, опрокинула Коломницкого и... Все было кончено, трехходный мат был ясен, — филидоровская развязка!

...Вяло склонился в кресле, и сразу стала душа его как пустая зеленая бутылка, а глаза сомкнулись, будто стопудовая усталость опустилась на веки ему. Потом сдвинулись два разных пути, и обозначился угол... а возле самого уха заколебался близкой флейты свист. Потом все переместилось, и в тишине прорисовался только что выявленный оттуда женский тихий смешок...

Он повернулся так, что скрипнули все три кресловых ноги, раскрыл все свои сто тысяч глаз, и нестерпимая сладость вновь отвоеванной близости облила его холодным потом с головы до ног.

Она стояла возле, в черном вся — столько раз желанная, выигранная и не достигнутая никогда, метельные глаза остановив на нем. Сердце его потянулось к ней, он рванулся, он схватил ее руку, гладил точеную милую ее ладонь и пальцы, Глядел в глаза, в уме повторяя всю свою блистательную партию наизусть, бормотал ее, — одинаковое с начала и конца, — Анна, родное имя, — и еще какой-то причудливый любовный вздор, чудесно влетающий в пень флейт над головою. Партия была закончена, дальше начиналось счастье.

Почтительно раздавшись, взирали на них остальные фигуры с доски, немые от волненья, тронутые длительностью поединка, глубиной верности и чувства, заслуженно увенчанного победой. Для полного блаженства нужно было теперь только остаться навсегда в их кругу и все глядеться в очи любимой, покамест пальцы иной судьбы не разведут их, бедных деревяшек, для новой игры.

Едва подумал, тотчас же заостенело все кругом, прежде всего — остановленное блаженством время, и вот еще не изведенная немота стала вливаться в его затекшее тело. Живыми пока глазами смотрел он на свою, достигнутую, из облежавшей его тело древесины, — скованная рука уже не тянулась к ней...

Тут рывком потухающего сознания он раздвинул смыкавшийся угол, и тот послушно исчез на прямой. Деревянным смехом рассмеялись где-то за обозначившейся вдруг стеной уходящие флейты. И ничего не стало.

Владимир Николаевич раскрыл глаза, пощурился на окно, прислушался к самоварной песенке, в раздумье и не без сожаленья разжал ладонь — там лежал шахматный, деревянный, согретый его теплотою ферзь.

Зима еще пушилась снежным навесом в окне, но что-то успело измениться вокруг, и, если взглядеться попристальней, сквозь округлые сугробы внизу просматривались рябые от ветра талые лужи.

Вошла в комнату толстая ведьма Наталья:

— Там к тебе тот, рыжий, пришел...

Июль – август 1922 г.